

**Гроссман Василий Семенович**

## **Жизнь и судьба**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3  
ББК 84  
Г88

Г88 **Гроссман Василий Семенович**  
Жизнь и судьба / Гроссман Василий Семенович – М.: Книга по Требованию, 2024. – 699 с.

**ISBN 978-5-458-03291-9**

Роман «Жизнь и судьба» стал самой значительной книгой В.Гроссмана. Он был написан в 1960 году, отвергнут советской печатью и изъят органами КГБ. Чудом сохраненный экземпляр был впервые опубликован в Швейцарии в 1980, а затем и в России в 1988 году. Писатель в этом произведении поднимается на уровень высоких обобщений и рассматривает Сталинградскую драму с точки зрения универсальных и всеобъемлющих категорий человеческого бытия. С большой художественной силой раскрывает В.Гроссман историческую трагедию русского народа, который, одержав победу над жестоким и сильным врагом, раздираем внутренними противоречиями тоталитарного, лживого и несправедливого строя.

**ISBN 978-5-458-03291-9**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2024  
© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2024  
© Гроссман Василий Семенович, 2024

Василий Гроссман  
Жизнь и судьба



*Посвящается моей матери  
Екатерине Савельевне Гроссман*

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## 1

Над землей стоял туман. На проводах высокого напряжения, тянувшихся вдоль шоссе, отсвечивали отблески автомобильных фар.

Дождя не было, но земля на рассвете стала влажной и, когда вспыхивал запретительный светофор, на мокром асфальте появлялось красноватое расплывчатое пятно. Дыхание лагеря чувствовалось за много километров, – к нему тянулись, все сгущаясь, провода, шоссе и железные дороги. Это было пространство, заполненное прямыми линиями, пространство прямоугольников и параллелограммов, рассекавших землю, осеннее небо, туман.

Протяжно и негромко завывали далекие сирены.

Шоссе прижалось к железной дороге, и колонна автомашин, груженных бумажными пакетами с цементом, шла некоторое время почти на одной скорости с бесконечно длинным товарным эшеленом. Шоферы в военных шинелях не оглядывались на идущие рядом вагоны, на бледные пятна человеческих лиц.

Из тумана вышла лагерная ограда – ряды проволоки, натянутые между железобетонными столбами. Бараки тянулись, образуя широкие, прямые улицы. В их однообразии выражалась бесчеловечность огромного лагеря.

В большом миллионе русских деревенских изб нет и не может быть двух неразлично схожих. Все живое – неповторимо. Немыслимо тождество двух людей, двух кустов шиповника... Жизнь глохнет там, где насилие стремится стереть ее своеобразие и особенности.

Внимательный и небрежный глаз седого машиниста следил за мельканием бетонных столбиков, высоких мачт с вращающимися прожекторами, бетонированных башен, где в стеклянном фонаре виднелся охранник у турельного пулемета. Машинист мигнул помощнику, паровоз дал предупредительный сигнал. Мелькнула освещенная электричеством будка, очередь машин у опущенного полосатого шлагбаума, бычий красный глаз светофора.

Издали послышались гудки идущего навстречу состава. Машинист сказал помощнику:

– Цуккер идет, я узнаю его по бедовому голосу, разгрузился и гонит на Мюнхен порожняк.

Порожний состав, грохоча, встретился с идущим к лагерю эшеленом, разорванный воздух затрещал, заморгали серые просветы между вагонами, вдруг снова пространство и осенний утренний свет соединились из рваных лоскутов в мерно бегущее полотно.

Помощник машиниста, вынув карманное зеркальце, поглядел на свою запачканную щеку. Машинист движением руки попросил у него зеркальце.

Помощник сказал взволнованным голосом:

– Ах, геноссе Апфель, поверьте мне, мы могли бы возвращаться к обеду, а не в четыре часа утра, выматывая свои силы, если б не эта дезинфекция вагонов. И как будто бы дезинфекцию нельзя производить у нас на узле.

Старику надоел вечный разговор о дезинфекции.

– Давай-ка продолжительный, – сказал он, – нас подают не на запасный, а прямо к главной разгрузочной площадке.

В немецком лагере Михаилу Сидоровичу Мостовскому впервые после Второго Конгресса Коминтерна пришлось всерьез применить свое знание иностранных языков. До войны, живя в Ленинграде, ему нечасто приходилось говорить с иностранцами. Ему теперь вспомнились годы лондонской и швейцарской эмиграции, там, в товариществе революционеров, говорили, спорили, пели на многих языках Европы.

Сосед по нарам, итальянский священник Гарди, сказал Мостовскому, что в лагере живут люди пятидесяти шести национальностей.

Судьба, цвет лица, одежда, шарканье шагов, всеобщий суп из брюквы и искусственного саго, которое русские заключенные называли «рыбий глаз», – все это было одинаково у десятков тысяч жителей лагерных бараков.

Для начальства люди в лагере отличались номерами и цветом матерчатой полоски, пришитой к куртке: красной – у политических, черной – у саботажников, зеленой – у воров и убийц.

Люди не понимали друг друга в своем разноязычии, но их связывала одна судьба. Знатоки молекулярной физики и древних рукописей лежали на нарах рядом с итальянскими крестьянами и хорватскими пастухами, не умеющими подписать свое имя. Тот, кто некогда заказывал повару завтрак и тревожил экономку своим плохим аппетитом, и тот, кто ел соленую треску, рядом шли на работу, стуча деревянными подошвами и с тоской поглядывали – не идут ли *Kosttrager* – носильщики бачков, – «костриги», как их называли русские обитатели блоков.

В судьбе лагерных людей сходство рождалось из различия. Связывалось ли видение о прошлом с садиком у пыльной итальянской дороги, с угрюмым гулом Северного моря или с оранжевым бумажным абажуром в доме начальствующего состава на окраине Бобруйска, – у всех заключенных до единого прошлое было прекрасно.

Чем тяжелей была у человека долагерная жизнь, тем ретивей он лгал. Эта ложь не служила практическим целям, она служила прославлению свободы: человек вне лагеря не может быть несчастлив...

Этот лагерь до войны именовался лагерем для политических преступников.

Возник новый тип политических заключенных, созданный национал-социализмом, – преступники, не совершившие преступлений.

Многие заключенные попали в лагерь за высказанные в разговорах с друзьями критические замечания о гитлеровском режиме, за анекдот политического содержания. Они не распространяли листовок, не участвовали в подпольных партиях. Их обвиняли в том, что они бы могли все это сделать.

Заключение во время войны военнопленных в политический концентрационный лагерь являлось также нововведением фашизма. Тут были английские и американские летчики, сбитые над территорией Германии, и представлявшие интерес для гестапо командиры и комиссары Красной Армии. От них требовали сведений, сотрудничества, консультаций, подписей под всевозможными декларациями.

В лагере находились саботажники, – прогульщики, пытавшиеся самовольно

покинуть работу на военных заводах и строительствах. Заключение в концентрационные лагеря рабочих за плохую работу было также приобретением национал-социализма.

В лагере находились люди с сиреневыми лоскутами на куртках – немецкие эмигранты, уехавшие из фашистской Германии. И в этом было нововведение фашизма, – покинувший Германию, как бы лояльно он ни вел себя за границей, становился политическим врагом.

Люди с зелеными полосами на куртках, – воры и взломщики, были в политическом лагере привилегированной частью; комендатура опиралась на них в надзоре над политическими.

Во власти уголовного над политическим заключенным также проявлялось новаторство национал-социализма.

В лагере находились люди такой своеобразной судьбы, что не было изобретено цвета лоскута, отвечающего подобной судьбе. Но и индусу, заклинателю змей, персу, приехавшему из Тегерана изучать германскую живопись, китайцу, студенту-физику национал-социализм уготовил место на нарах, котелок баланды и двенадцать часов работы на плантаже.

Днем и ночью шло движение эшелонов к лагерям смерти, к концентрационным лагерям. В воздухе стояли стук колес, рев паровозов, гул сапог сотен тысяч лагерников, идущих на работу с пятизначными цифрами синих номеров, пришитых к одежде. Лагери стали городами Новой Европы. Они росли и ширились со своей планировкой, со своими переулками и площадями, больницами, со своими базарами-барахолками, крематориями и стадионами,

Какими наивными и даже добродушно-патриархальными казались ютившиеся на городских окраинах старинные тюрьмы в сравнении с этими лагерными городами, по сравнению с багрово-черным, сводившим с ума заревом над кремационными печами.

Казалось, что для управления громадой репрессированных нужны огромные, тоже почти миллионные армии надсмотрщиков, надзирателей. Но это было не так. Неделями внутри бараков не появлялись люди в форме СС! Сами заключенные приняли на себя полицейскую охрану в лагерных городах. Сами заключенные следили за внутренним распорядком в бараках, следили, чтобы к ним в котлы шла одна лишь гнилая и мерзлая картошка, а крупная, хорошая отсортировывалась для отправки на армейские продовольственные базы.

Заключенные были врачами, бактериологами в каторжных больницах и лабораториях, дворниками, подметавшими каторжные тротуары, они были инженерами, дававшими каторжный свет, каторжное тепло, детали каторжных машин.

Свирепая и деятельная лагерная полиция – капо, носившая на левых руках широкую желтую повязку, лагерэльтеры, блокэльтеры, штубенэльтеры – охватывала своим контролем всю вертикаль лагерной жизни, от общелагерных дел до частных событий, происходящих ночью на нарах. Заключенные допускались к сокровенным делам лагерного государства – даже к составлению списков на селекцию, к обработке подследственных в дункелькамерах – бетонных пеналах. Казалось, исчезни начальство, заключенные будут поддерживать ток высокого напряжения в проволоке, чтобы не разбежаться, а работать.

Эти капо и блокэльтеры служили коменданту, но вздыхали, а иногда даже и плакали по тем, кого отводили к кремационным печам... Однако раздвоение это



не шло до конца, своих имен в списки на селекцию они не вставляли. Особо зловещим казалось Михаилу Сидоровичу то, что национал-социализм не приходил в лагерь с моноклем, по-юнкерски надменный, чуждый народу. Национал-социализм жил в лагерях по-свойски, он не был обособлен от простого народа, он шутил по-народному, и шуткам его смеялись, он был плебеем и вел себя по-простому, он отлично знал и язык, и душу, и ум тех, кого лишил свободы.

Мостовского, Агриппину Петровну, военного врача Левинтон и водителя Семенова после того, как они были задержаны немцами августовской ночью на окраине Сталинграда, доставили в штаб пехотной дивизии.

Агриппину Петровну после допроса отпустили, и по указанию сотрудника полевой жандармерии переводчик снабдил ее буханкой горохового хлеба и двумя красными тридцатками; Семенова присоединили к колонне пленных, направлявшихся в шталаг в районе хутора Вертячего. Мостовского и Софью Осиповну Левинтон отвезли в штаб армейской группы.

Там Мостовской в последний раз видел Софью Осиповну, – она стояла посреди пыльного двора, без пилотки, с сорванными знаками различия, и восхитила Мостовского угрюмым, злобным выражением глаз и лица.

После третьего допроса Мостовского погнали пешком к станции железной дороги, где грузился эшелон с зерном. Десять вагонов были отведены под направленных на работу в Германию девушек и парней – Мостовской слышал женские крики при отправлении эшелона. Его заперли в маленькое служебное купе жесткого вагона. Сопровождавший его солдат не был груб, но при вопросах Мостовского на лице его появлялось какое-то глухонемое выражение. Чувствовалось при этом, что он целиком занят одним лишь Мостовским. Так опытный служащий зоологического сада в постоянном молчаливом напряжении следит за ящиком, в котором шуршит, шевелится зверь, совершающий путешествие по железной дороге. Когда поезд шел по территории польского генерал-губернаторства, в купе появился новый пассажир – польский епископ, седой, высокий красавец с трагическими глазами и пухлым юношеским ртом. Он тотчас стал рассказывать Мостовскому о расправе, учиненной Гитлером над польским духовенством. Говорил он по-русски с сильным акцентом. После того как Михаил Сидорович обругал католичество и папу, он замолчал и на вопросы Мостовского отвечал кратко, по-польски. Через несколько часов его высадили в Познани.

В лагерь Мостовского привезли, минуя Берлин... Казалось, уже годы прошли в блоке, где содержались особо интересные для гестапо заключенные. В особом блоке жизнь шла сытнее, чем в рабочем лагере, но это была легкая жизнь лабораторных мучеников-животных. Человека кликнет дежурный к двери – оказывается, приятель предлагает по выгодному паритету обменять табачок на пайку, и человек, ухмыляясь от удовольствия, возвращается на свои нары. А второго точно так же окликнут, и он, прервав беседу, отойдет к дверям, и уже собеседник не дожидется окончания рассказа. А через денек подойдет к нарам капо, велит дежурному собрать тряпье, и кто-нибудь искательно спросит у штубенэльтера Кейзе, – можно ли занять освободившиеся нары? Привычна стала дикая смесь разговоров о селекции, кремации трупов и о лагерных футбольных командах, – лучшая: плантаж – Moorsoldaten [болотные солдаты (нем.)], силен ревир, лихое нападение у кухни, польская команда «працефикс» не имеет защиты. Привычны стали десятки, сотни слухов о новом оружии, о раздорах среди национал-социалистических лидеров. Слухи всегда были хороши и лживы, – опиум лагерного народа.

К утру выпал снег и, не тая, пролежал до полудня. Русские почувствовали радость и печаль. Россия дохнула в их сторону, бросила под бедные, измученные ноги материнский платок, побелила крыши бараков, и они издали выглядели домашними, по-деревенски.

Но "блеснувшая на миг радость смешалась с печалью и утонула в печали.

К Мостовскому подошел дневальный, испанский солдат Андреа, и сказал на ломаном французском языке, что его приятель писарь видел бумагу о русском старике, но писарь не успел прочесть ее, начальник канцелярии прихватил ее с собой.

«Вот и решение моей жизни в этой бумажке», – подумал Мостовской и порадовался своему спокойствию.

– Но ничего, – сказал шепотом Андреа, – еще можно узнать.

– У коменданта лагеря? – спросил Гарди, и его огромные глаза блеснули чернотой в полутьме. – Или у самого представителя Главного управления безопасности Лисса?

Мостовского удивляло различие между дневным и ночным Гарди. Днем священник говорил о супе, о вновь прибывших, сговаривался с соседями об обмене пайки, вспоминал острую, прочесночную итальянскую еду.

Военнопленные красноармейцы, встречая его на лагерной площадке, знали его любимую поговорку: «туги капути», и сами издали кричали ему: «Папаша Падре, туги капути», – и улыбались, словно слова эти обнадеживали. Называли они его – папаша Падре, считая, что «падре» его имя.

Как-то поздним вечером содержащиеся в особом блоке советские командиры и комиссары стали подшучивать над Гарди, действительно ли он соблюдал обет безбрачия.

Гарди без улыбки слушал лоскутный набор французских, немецких и русских слов.

Потом он заговорил, и Мостовской перевел его слова. Ведь русские революционеры ради идеи шли на каторгу и на эшафот. Почему же его собеседники сомневаются, что ради религиозной идеи человек может отказаться от близости с женщиной? Ведь это несравнимо с жертвой жизни.

– Ну, не скажите, – проговорил бригадный комиссар Осипов.

Ночью, когда лагерники засыпали, Гарди становился другим. Он стоял на коленях на нарах и молился. Казалось, в его исступленных глазах, в их бархатной и выпуклой черноте может утонуть все страдание каторжного города. Жилы напрягались на его коричневой шее, словно он работал, длинное апатичное лицо приобретало выражение угрюмого счастливого упорства. Молился он долго, и Михаил Сидорович засыпал под негромкий, быстрый шепот итальянца. Просыпался Мостовской обычно, поспав полтора-два часа, и тогда Гарди уже спал. Спал итальянец бурно, как бы соединяя во сне обе свои сущности, дневную и ночную, храпел, смачно плямкал губами, скрипел зубами, громоподобно выпускал желудочные газы и вдруг протяжно произносил прекрасные слова молитвы, говорящие о милосердии Бога и Божьей матери.

Он никогда не укорял старого русского коммуниста за безбожие, часто рас-

спрашивал его о Советской России.

Итальянец, слушая Мостовского, кивал головой, как бы одобряя рассказы о закрытых церквях и монастырях, об огромных земельных угодьях, забранных Советским государством у Синода.

Его черные глаза с печалью смотрели на старого коммуниста, и Михаил Сидорович сердито спрашивал:

– Vous me comprenez? [Вы меня понимаете? (фр.)]

Гарди улыбался своей обычной, житейской улыбкой, той, с которой говорил о рагу и о соусе из помидоров.

– Je comprends tout ce que vous dites, je ne comprends pas seulement, pourquoi vous dites cela [я понимаю все, что вы говорите, я не понимаю только, почему вы это говорите (фр.)].

Находившиеся в особом блоке русские военнопленные не были освобождены от работ, и поэтому Мостовской виделся и разговаривал с ними лишь в поздние вечерние и ночные часы. На работу не ходили генерал Гудзь и бригадный комиссар Осипов.

Частым собеседником Мостовского был странный, неопределенного возраста человек – Иконников-Морж. Спал он на худшем месте во всем бараке – у входной двери, где его обдавало холодным сквозняком и где одно время стоял огромный ушастый чан с гремящей крышкой – параша.

Русские заключенные называли Иконникова «старик-парашютист», считали его юродивым и относились к нему с брезгливой жалостью. Он обладал невероятной выносливостью, той, которая отличает лишь безумцев и идиотов. Он никогда не простужался, хотя, ложась спать, не снимал с себя промокшей под осенним дождем одежды. Казалось, что таким звонким и ясным голосом может действительно говорить лишь безумный.

Познакомился он с Мостовским таким образом, – Иконников-Морж подошел к Мостовскому и молча долго всматривался ему в лицо.

– Что скажет доброго товарищ? – спросил Михаил Сидорович и усмехнулся, когда Иконников нараспев произнес:

– Сказать, доброе? А что есть добро?

Слова эти вдруг перенесли Михаила Сидоровича в пору детства, когда приезжавший из семинарии старший брат заводил с отцом спор о богословских предметах.

– Вопрос с седой бородкой, – сказал Мостовской, – о нем еще думали буддисты и первые христиане. Да и марксисты немало потрудились над его разрешением.

– И решили? – с интонацией, рассмешившей Мостовского, спросил Иконников.

– Вот Красная Армия, – сказал Мостовской, – сейчас решает его. А в тоне вашем, простите, содержится некий елей, нечто этакое, не то поповское, не то толстовское.

– Иначе не может быть, – сказал Иконников, – ведь я был толстовцем.

– Вот так фунт, – сказал Михаил Сидорович. Странный человек заинтересовал его.

– Видите ли, – сказал Иконников, – я убежден, что гонения, которые большевики проводили после революции против церкви, были полезны для христиан-